

ПОСЛЕДНИЙ АВГУСТ

Глава первая

1

Легкий скрип дверных петель. Перед тем как потянуть ручку, выдергиваю из-под продырявленного рыжего дерматина клочок войлока. Пальцы сами скручивают из него шарик. Затем дверную ручку – на себя, два прыжка через крыльцо – и вот он, двор.

Недалеко от нашего дома возвышается деревянный электрический столб, к которому приколочена табличка: «Переулок Наливайковский». Переулок – это дюжина хибар, сараи, сад и туалет.

Почему переулок называется Наливайковским, каждый из его обитателей объясняет по-своему. Например, старый лысый мебельщик Маслянский говорит, что это название происходит от фамилии казацкого атамана Наливайко, курени которого когда-то здесь стояли перед походом. А вот отец Аллочки, дядя Вася, уверяет, что Наливайковским переулок стал потому, что живущий здесь народ всегда любил наливать. «И песня такая есть: налей, налей бокалы, – напевает дядя Вася, откупоривая зеленую бутылку, – и в нос ударяет мерзкий запах. – Раз уж мы родились в Наливайковском, то, видать, и судьба наша – наливайковская».

Итак, в путь. Под подошвами моих сандалий постреливают и поскрипывают камешки, галька, стеклышки, попадаются бутылочные пробки, там и сям обрывки газет.

Вот дом мебельщика Маслянского, перед ним – диван с содранной обшивкой и ящик с инструментами. Далее – дом, в котором живет Аллочка.

Неподалеку – колонка с разболтанной блестящей ручкой. Дергать ее нам строго запрещено, впрочем, как – строжайше! – запрещено и пить воду из колонки. А хорошо бы хоть сейчас навалиться животом на железный стояк, ощутить приятный холодок и услышать, как откуда-то из глубин, урча, поднимается вода. Но стоит Аллочке пару раз нажать ручку, а мне налечь на стояк, как сразу раздается окрик мамы: «Игорь! Ты что, хочешь простудиться? А ну, марш от колонки!»

Далее – забор, за которым сад, где растут абрикосы, марель, сливы. Но прежде чем лезть, садиться на деревянные колышки и рвать ягоды, нужно крепко подумать – мокрая тряпка бабы Маруси в любую минуту готова проехаться по спине, а то и по лицу. Зато все свисающее со стороны двора

можно смело рвать, лишь бы не ломать ветки – таковы правила, установленные самой бабой Марусей.

По двору гоняет воробьев Туз – кургузый щенок дворняжки. «Туз-Туз!» – подзывают его братья-близнецы Вадик и Юрка, подсовывая ему какой-нибудь огрызок. Вадик и Юрка старше меня на пять лет. Моя мама называет их хулиганами и дружить с ними запрещает. Впрочем, и сами братья ни за что не взяли бы меня к себе в друзья.

У крыльца своего дома роет в земле ямки сын тети Любы – четырехлетний Вовка. У него большая голова, слегка вздутый живот и кривые ноги. Вовка не умеет разговаривать и вряд ли понимает, что ему говорят. Завидя кого-то, он мычит и поднимает руки. А когда Вовке что-то не нравится, он падает на землю и рычит. Вадик и Юрка обзывают Вовку дебилом.

Ну и в самом конце этой дворовой кишки находится общий туалет – конечная цель моего утреннего путешествия. На дверях туалета не написано ни «М», ни «Ж». Зато со стороны внутренней... Нарисованные красным карандашом, ручкой, даже вырезанные ножом, рисунки забавных человечков, похожих на героев из журнала «Веселые картинки». Правда, в туалете все они – голые, стоят или лежат в странных позах, и по ним ползают мухи. А фигурки женщин – вообще умора: какие-то неуклюжие, уродливые...

На ходу подтягиваю штаны и иду обратно. Остановливаюсь у асфальтированной дороги – дальше идти одному мне нельзя. Там распаивается огромный мир: мчатся грузовики, катятся троллейбусы, куда-то спешат прохожие – рев, грохот. Даже самолеты, и те, похоже, летают только там, не залетая в клочок неба над нашим двором.

2

Дверь нашего дома распахнута. Бабушка Хана – низенькая, согбенная, с маленькой, как яичко, головой, пеликаньим носом и с жиденькими волосами, собранными в узелок, колдует над конфорками. На плите подрагивают крышки кастрюль, лопаются пузыри, из большой кастрюли торчат хвостики свеклы. Особенно заметен самый длинный, похожий на хвост крысы. Крысы, которую должен был убить отец в тот вечер, когда мама, открыв кладовку, вдруг вскрикнула и отпрянула назад.

– Она там! – дрожащим пальцем мама указывала на кладовку.

Я сжал кулачки и подошел поближе к бабушке. Папа вынес из кухни швабру. Он нес ее, как багор, напоминая индейца, который идет бить лосося.

Охота на эту крысу велась давно, не раз по ночам наша квартира оглашалась криком мамы: «Крыса!». Включали свет, возникал переполох. Я пулей долетал до бабушкиной кровати и шлепался в нее. Начинались поиски, но

крысы и след простыл. «Семен, посмотри под столом, – указывала мама. – А на кухне. А под диваном...» Отец покорно ходил туда-сюда, но постепенно его движения становились все более вялыми, и, в конце концов, он изрекал: «Тебе показалось. У тебя под носом крысы бегают».

Однажды мама ее чуть не подстрелила: по ее словам, наша крыска среди бела дня безбоязненно двигалась к спальне. Мама запустила в нее крышкой от кастрюли. Конечно, промазала.

Предложения завести кота мама категорически отвергала. «Животные распространяют заразу. Кошка будет ходить по улице, лазать по крышам, по туалетам, а потом – прыгать на стол. Или вы хотите, чтобы Игорь заразился?» Маму не могли убедить ни аргументы, что кошки – животные чистоплотные, ни обещания, что после поимки крысы кошка навеки покинет наш дом. Нет, и все. Мама работала медсестрой в детской инфекционной больнице.

Отец заделывал постоянно возникающие щели-норы, бабушка сыпала туда мышьяк, в углу стояла мышеловка. Но крыса-невидимка была мастером своего дела – ей удавалось ускользать и существовать в нечеловеческих условиях. И вот, наконец, такая удача – крыска в кладовке!

Отец ударял концом швабры по всем углам. Я зажмурил глаза. Бедная крыска-Лариска... Но глухие удары становились все реже и вскоре прекратились.

– У тебя под носом крысы бегают, – изрек отец свою коронную фразу, означавшую – охота закончена.

Правда, для меня эта охота не прошла безболезненно. Утром маме взбрело в голову, что мне обязательно нужно сделать прививку. Заставила меня снять штаны и лечь на диван. Достала из ящика металлическую коробочку, в которой лежали шприц, иголки и пинцет.

Когда мамы нет, я тихонько вынимаю эту коробочку и играю «в больницу»: надеваю иголку на носик шприца и поочередно делаю уколы всем игрушкам. В эти минуты я безжалостен, не поддаюсь ни на какие уговоры. «У тебя желтуха», – говорю барсу. «А у тебя корь. Ну-ка, живо снимай штаны и ложись!» – приказываю зайцу. Самый больной в моей лечебнице – плюшевый мишка: у него коклюш, оспа и свинка одновременно, поэтому он получает самую большую дозу лекарств. После процедур все куклы отправляются в палату и с замиранием сердца ждут, не захочет ли доктор делать им уколы по второму кругу. Тут все зависит от общего состояния больного, настроения доктора, а также опасности разоблачения со стороны бабушки.

Но в то утро пациентом был я. Мама вскипятила воду, взяла шприц. Из иголки брызнула тонкая струйка.

– Не напрягайся, это не больно... Ну-ну, не плачь, уже все.

3

Всей семьей мы сидели за столом.

– Игорь, ешь сухари, – сказала мама.

Я окунул сухарь в тарелку с бульоном и, поболтав его, стал медленно вынимать, так, чтобы отваливались разбухшие куски.

– А ты почему не ешь? – обратился отец к маме.

– Что-то нет аппетита, – ответила она, выходя из задумчивости. Ее губы скривились и вытянулись.

– А когда он у тебя был, аппетит-то? – промолвил папа и потянулся рукой к мисочке, в которой лежали вареные кроличьи лапки. Папино лицо стало еще добрее, из глаз посыпались лучики. Вообще, таким уверенным в себе и счастливым отец бывал лишь за столом, нигде больше.

– А где гарнир?

Звякнула кастрюльная крышка, и над столом совершила несколько перелетов в обе стороны большая ложка с гречневой кашей. Затем появились дольки помидоров, стрелки зеленого лука.

– Ты обедаешь, как барон, – поддела его мама. – Разве голодранцы так обедают?

Не обращая внимания, папа сервировал стол возле себя: овощи – с одной стороны, гречневую кашу с кроликом – с другой, кружку с огуречным рассолом – с третьей.

– Обед главного инженера, – изрек он, полюбовавшись стоящими перед ним яствами.

– А ты и есть – главный инженер, – подтвердила бабушка.

– Хоть в одном мне повезло: теща – золотая.

Все-таки здорово, что папа – главный инженер. И зря мама называет его голодранцем. На заводе папа наверняка очень важный, ходит, сдвинув свои кустистые брови.

Вечером, придя с работы, он умывается и садится на свою табуретку в торце стола. На этой табуретке я могу сидеть в любое время, но только не тогда, когда папа собирается есть. Табуретка тогда превращается в его трон. Мама сидит напротив, но это место за нею как бы не закреплено – иногда она может уместиться посередке, иногда и на углу, а если нет аппетита, вообще не приходит к столу. Мое же место всегда посередине. Как на казни.

Папа тем временем доел гречневую кашу, так изысканно названную «гарниром». Я обожал это слово «гарнир», наверное, так же, как папа –

гречневую кашу. В бедной нашей жизни оно было вестником из другого мира, мира красивых слов: гарсон, гардины, гармония...

Груда грязных тарелок в умывальнике росла, а у меня с бульоном не клеилось: сколько ни скреб по тарелке, сколько ни гонял от берега к берегу лепесток вареной луковицы, – бульона не убывало.

– А ну, доедай, – сказала мама.

Я тяжело вздохнул – разве в меня может столько вместиться? И почему папа ест, сколько хочет, а я обязан съесть сколько приказывают?

– Не могу больше, устал.

– А ну не выдумывай, доедай, – строго повторила мама. – Посмотри, какой ты худой.

– Сядь, как следует, – велел отец.

Пришлось еще и опустить ноги с табуретки.

– Пора его в школу вести, уже июль заканчивается, – сказал папа.

Дело в том, что я – ноябрьский, а в школу принимают лишь тех, кому семь лет исполнилось до сентября. Но родителям кто-то сказал, что можно «показать» меня директору, – вдруг разрешит пойти в этом году.

– Сегодня у нас что? Среда. Завтра мы с Леной идем делать рентген. Свожу-ка его в школу в пятницу, – отвечает бабушка.

– В пятницу приедет моя мать, – ни к кому не обращаясь, произносит отец. – Ну что, давайте компот, – он распрямляет плечи орлом, громко крикает.

– Надеюсь, она не останется у нас ночевать, как в прошлый раз, – спрашивает мама.

– А тебе жалко?

– Да, жалко. А где она будет спать?

– Я ее вместе с тобой положу, – папа улыбается, довольный своей шуткой.

– У нее что, нет своей квартиры? Слава Богу, у нее две комнаты. Она – богачка. А у тебя, голодранца, ничего нет.

– А ты ей завидуешь, – перебивает отец.

– Нисколько, – мама слегка поднимает подбородок. – Мне хватает того, что у меня есть.

Только бы они сейчас не начали ссориться.

– У тебя ротик такой маленький, а такой черный. Когда-нибудь возьму иголку с ниткой и зашью его, – угрожает отец. Но сейчас его голос совсем не страшный.

– А тебя никто не боится, – продолжает наступление мама.

– Сейчас мы увидим, боится или нет: вот сниму ремень и как дам по одному месту, – папа встает и шутя делает вид, что снимает ремень.

С улицы вдруг доносятся крики. Бабушка, прекратив мыть посуду, прислушивается.

– Что там случилось? – спрашивает мама.

– Черт его знает. Похоже, Васька опять напился и бьет Валу, – бормочет отец и вместе с бабушкой выходит из дома.

Слегка наклонившись вперед, мама смотрит им вслед, ее утиный нос вытягивается еще больше.

– Иди в комнату, – велит она мне и тоже уходит.

Когда мама скрылась, я подкрался к двери, затем очутился на крыльце и через минуту тыкался между мужских штанов и женских юбок, пытаюсь разглядеть, что же происходит в доме Алочки.

К дверям – не подступиться. Странно, почему никто не спешит к дому, когда там смеются? А вот когда плачут, зрителей – пруд пруди.

У закрытых дверей стояли бабушка, дядя Митя, папа, Маслянский, женщины.

– Милицию нужно вызвать!

– Васек, не будь фраером, – хрипел дядя Митя, отец Вадика и Юрки.

Дядя Митя появился во дворе недавно, не знаю, где он пропадал до этого. У него красная шея, да и весь он красный, как из борща. Дядя Митя в грязной майке, на его левом плече – татуированный эполет, во рту из угла в угол прыгает папироса. После того как он появился, Вадик и Юрка осмелели еще больше – никого вокруг не боятся. Недавно я увидел, как они курили за туалетом. Хотел подойти к ним, но Юрка замахнулся кулаком и обозвал каким-то новым словом...

– Бросила б Валька этого алкаша и нашла б себе другого, – говорила баба Маруся. – Но разве можно сегодня найти нормального мужика? Всех нормальных в войну перебили.

Баба Маруся живет одна – ее муж сгорел в танке. Вадик и Юрка называют бабу Марусю «жиропой», а она их – «выблядками».

– Игорьь, ты почему здесь? А ну марш домой! – приказала мама, заметив меня.

Я послушно закивал, но продолжал стоять.

– Я сказала – домой! Или ты хочешь, чтобы что-то случилось?

Вот вечно так: всем можно, а мне – нет. Мама постоянно начеку – ждет, когда что-то случится.

– Если бы ты могла, привязала бы его к своей юбке, – часто говорит ей папа. В этот момент я люблю его как защитника моих интересов. Я жду, чтобы он приказал маме: не запрещать мне гулять, где хочу; кушать, сколько хочу, и разрешить мне пить воду из колонки. Тогда останутся только папины запреты: ложиться спать ровно в девять часов и не «подсматривать» после этого телевизор. Отцовские запреты – незыблемы, а вот мамины, похоже, можно отменить. Но до сих пор папиных распоряжений на этот счет маме не поступало...

Наружная дверь вдруг распахнулась, все расступились. Выбежала тетя Валя, растрепанная, заплаканная. Волочила за руку Аллочку.

– Идем! Да идем же! – прикрикивала тетя Валя.

– Убью с-суку! – раздался вопль, и в дверях показался дядя Вася в спортивных штанах и футболке. У него – черные растрепанные волосы, губы, как две перекладыны. – Трешку украла!

– Васек, утхни! Хочешь, чтобы опять мусора прикатили? – дядя Митя грудью заслонил ему дорогу.

– Жену не жалеешь, хоть бы о ребенке подумал! – зашумели женщины.

– Ша! Спать! Завтра все расскажешь! – дядя Митя стал решительно вталкивать отца Аллочки в дом.

– А шоб вас, сволочей, пересажали! – буркнула баба Маруся, хлопнув калиткой.

Вскоре мы с мамой – дома. Через несколько минут вошла и бабушка.

– Уговаривала Валу, чтобы оставила ночевать Аллу у нас, – не захотела. Ей неудобно.

– И куда же она, на ночь глядя? – спросила мама.

– Сказала, что к сестре.

– Бедная Валя, – мама вздохнула. – А где Семен? – на ее лице снова тревога.

– Помогает Ваську успокоить. Сейчас придет.

4

Вечером, как обычно, я отправился в свои владения, в свой уголок. Там стояла софа (так ее называют родители). Рядом с ней – картонный ящик, в котором лежали резиновые и плюшевые игрушки – козленок, барс, заяц с медными тарелками и, конечно же, транспорт – паровозик и грузовик.

Обычно перед сном я доставал своих героев из ящика, усаживал – кого на паровоз, кого в грузовик, заводил ключом зайца и под звуки марша отправлял в путь. Мой уголок тогда превращался в вокзал, откуда вылетали различные звуки и возгласы: «в-ж-ж» сменялось «ой-ой-ой» и «чух-чух-чух». Словарь расширялся после очередного кинофильма: «Приедешь, пиши», «Успеем прорваться, товарищ полковник» и даже «Прощай, Коля, прощай навеки...»

– Куда они едут? – однажды спросила бабушка, придя на «вокзал» в разгар посадки.

– Далеко, за тридевять земель.

Бабушка села в кресло и, натянув на стакан папин дырявый носок, принялась штопать.

– Он играет в эмиграцию, – произнесла она себе под нос.

Граница моего угла заканчивалась буфетом, поставленным специально так, чтобы я не мог лежа смотреть телевизор.

Ну а на софе весь день ждал своего друга плюшевый медвежонок с оторванным глазом-пуговицей и затертым тряпичным язычком. Медвежонок давно не мычал – что-то твердое, если потрясти, болталось у него внутри. Впрочем, я уже не шибко нуждался в его ложном мычании – таких плюшевых медведей тысячами делают на фабрике и доставляют в универмаги. Но с медвежонком было легче засыпать: прослушав сказку, мордой к стене сначала ложился он.

* * *

В тот вечер играть в своем углу не хотелось. Я залез на бабушкин диван, немного попрыгал, чтобы поскрипели пружины. И не дожидаясь родительских указаний, отправился спать. Перед этим вышел на крыльцо, где у двери на ночь специально выставлялось ведро.

Зазвенело, как дождь по жести, только гораздо мелодичней: свое соло тенор начал робко, затем осмелел, потом – мощное крещендо, и постепенно – тише, тише, последняя капля, последний удар смычка... Аплодисменты!..

Потом почистил зубы, разделся, уложив штаны и рубашку на стуле, что обычно делала мама. Лег.

– Сынок, ты не заболел? – встревожилась мама, прикладываясь губами к моему лбу. – Нет, не горячий... Смотри, как Игорь аккуратно сложил свою одежду. Не то, что ты – приходишь и бросаешь, где придется, – кольнула она отца.

На мгновение я почувствовал гордость за себя: хорошо бы стать послушным и выполнять все, чего от тебя добиваются родители. Может, начать завтра же? Или... Нет, лучше послезавтра. А завтра – напоследок, еще пожить как человек.

Я повернулся на правый бок, на левом спать нельзя – там сердце. Уложил медвежонка и стал прислушиваться к разговорам взрослых.

– Что за дурной фильм, – сказала мама. – Сделай тише, Игорь спит.

Еле слышно зашлепали, удаляясь, папины тапки, которые он называет «капцями». У папы шаги – широкие, отчетливые – бум-бум-бум; у мамы – вкрадчивые, утиные, да и ходит она, перекачиваясь, по-утиному. Бабушка вообще не ходит, а переплывает, словно парит в воздухе... Она парила всю жизнь над ведрами и кастрюлями, не выпуская из рук веника, кухонных ножей и дырявых папиных носков. Нажав на педаль акселератора и потянув рычаги на себя, она взмыла до седьмого этажа дома, в который мы переехали. А потом, пожелтевшая, изъеденная раком, штопором пошла вниз,

в мерзлую землю кладбища. Но смерть мстила этой старухе за прижизненное парение: смерть затолкала ее на самое дно могилы, присыпала комьями и снегом, утрамбовала и, для надежности, навалила сверху гранитную плиту, которая почему-то вскоре треснула пополам...

– Жалко Валю, за что ей такое наказание, – сказала мама.

– А ты мной недовольна. Смотри, уйду к другой, – с деланной угрозой в голосе произнес папа.

– Васька раньше так не пил, – помолчав, сказала мама.

– Он спивается так же, как и покойный Борис, – добавила бабушка. – Помню, тот запил, когда вышел из тюрьмы.

– А что, Васькин отец сидел? – спросил папа.

– Два года. В тридцать седьмом... нет, постой, в тридцать шестом, при Ежове, его выпустили на бериевскую амнистию. А из эвакуации он вернулся законченным алкоголиком.

– Отец от водки сгорел, и сын туда же, – добавила мама.

Возникла пауза.

– Завтра на заводе собрание, будут говорить о новом доме, – сообщил папа.

– Разве его уже закончили? – осторожно спросила мама.

Папа промолчал (наверно, кивнул).

– Эх, дали бы нам двухкомнатную квартиру... Но мы невезучие. Везет только богачам, а беднякам – никогда, – запричитала мама.

– Ничего, может, дадут и нам, – обнадежила бабушка.

– Если бы он не боялся выступать, а то ведь всего боится, – продолжала мама. – Только дома храбрый. Нам же полагается квартира, полагается. Сколько у нас метров на человека?

– Четыре, – буркнул отец.

– А надо сколько? Шесть. Но разве ты можешь чего-нибудь добиться? Нет бы – войти в кабинет директора или парторга, стукнуть кулаком по столу...

– Ты видела нашего директора и парторга? Иди к ним, добивайся. Рабочие их так ненавидят, дай волю – повесили бы на первом столбе.

– Тише, ша, Игорь спит, – зашипела мама.

В кухне запел сверчок. Интересно, какой он? Наверное, большой усатый жук, сидит в норке и рассказывает свои таинственные истории.

– Лена, завтра в восемь мы должны выйти, – напомнила бабушка.

– Вы идете к Шалимову? – поинтересовался папа.

– Да. Спасибо нашей заводделением – ее сестра дружит с дочкой Шалимова. Я так волнуюсь – что покажет рентген? Подозревают камни в желчном пузыре, у меня во рту постоянная горечь. Надо будет дать Шалимову десятку.

– За одну консультацию – десять рублей? – возмутился папа.

– А что ты думал? Нельзя же не дать!

– За операцию тоже придется платить, – промолвил папа поникшим голосом.

– А как же! Боже, неужели придется удалять желчный пузырь, это же серьезная полостная операция... – и мама перевела разговор в область, где чувствовала себя как рыба в воде.

О пузырях, протоках и каналах она могла говорить часами, особенно накануне приступа. А во время приступа целыми днями лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и если шевелилась, то двигались лишь ее густые черные волосы и ноги, а халат оставался неподвижен. С тех давних пор я был уверен, что такое несметное количество «пузырей, протоков и каналов» находится в животе только у мамы. Она бережно несла это «хозяйство», время от времени лишаясь то очередного пузыря, то кусочка желудка. И все равно, когда, казалось, что болеть там уже просто нечему, мама шла к новому доктору, и тот обнаруживал в ее животе еще какую-нибудь загогулину, которую нужно удалять, и немедленно. С годами удаленные органы стали составлять мамин «золотой фонд» – она его бережно складировала в своей памяти, снабдив бирками, где по порядку стояли: год операции, имя врача, название больницы, особые обстоятельства. Вероятно, одной из причин, почему мама так редко ходила на пляж, был ее живот, изрезанный вдоль и поперек...

В телевизоре зазвучала музыка – фильм закончился.

– Ну что, гей шлофн? – сказал папа, хлопнув ладонями по подлокотникам кресла.

Началось общее движение. Вскоре из кухни донеслось позвякивание носика умывальника и папино фырканье. Затем папины – бум-бум-бум – шаги. Щелчок кнопки телевизора – и комната погрузилась во мрак.

Я крепче прижал мишку к себе. Смутно слышал, как на кухне выдвигались ящики, звенели ручки ведер, как, осторожно ступая, мимо прошла мама. В полутьме я вдруг как будто увидел белого кролика. Хотел его погладить, но кролик внезапно посерел и ощерился.

– Крыса! – заорав, я вскочил с кровати и указал на кладовку.

Вбежали родители, вспыхнул свет. Папа рванул дверцу кладовки, заглянул внутрь.

– Господи, сколько мы должны мучиться в этой норе! – запричитала мама. – С крыши течет, на стенах грибок, в кладовке крысы.

– У тебя под носом крысы, – огрызнулся отец, захлопывая кладовку. – Заколотить ее к чертовой матери!..

Выключил свет и ушел. Мама – следом за ним.

– Ба, можно к тебе?

Несколько быстрых шажков, мастерский прыжок – и я в теплой бабушкиной постели. Разлеглась королем. Жду. Под мою голову осторожно подкладывается подушка. Скрипят пружины – и рядом ложится кто-то огромный. Я прижимаюсь к ней, зарываюсь в нее, трусь носом, как щенок. Ее мягкая ладонь гладит мои плечи, спину, и по всему телу, до самых кончиков пальцев, разливается тепло. Губы мои улыбаются, ресницы дрожат. Тепла уже так много, что, кажется, плывешь в его море.

– Спи...

5

На кухне хлопотала бабушка.

– Ба, а где мама?

– Пошла на работу.

Все-таки жаль, что мама на работе. Иногда она работает днем, а иногда дежурит в ночную смену. Со мной, правда, мама играет редко и книжки мне читает не так часто, как хотелось бы. Но все равно, лучше, когда мама дома. Потому что тогда кормит меня она, а не бабушка, а с мамой бороться мне гораздо легче. Бабушка сначала выторгует у меня несколько ложек. Как я ни силен в математике, все же на одну-две ложки она обязательно обмахлует. Если я отпрошусь «отдохнуть», она будет преследовать меня по всему дому, пока не прижмет в каком-нибудь углу и не заставит проглотить. Словом, от бабушки не отвертеться.

А вот с мамой справиться куда легче: мама только поначалу делает вид, что намерена в меня впихнуть всю тарелку. Вначале она строгая: лицо серьезное, сидит прямо, ложка в руке – как сабля. Но после третьей ложки я затягиваю время, долго пережевываю, кашляю, отдыхаю, и мама потихоньку начинает терять терпение. Тут главное – выдержать характер, не провалить всю тонко продуманную операцию. Если наотрез откажусь – мама начнет угрожать и кричать. Скандалов я не люблю. А если проглатывать и прожевывать слишком быстро, мама тоже станет увеличивать темп. Потому темп нужно сбавлять медленно, пока мама, обессилев, не опустит руки и не отпустит на волю. Короче, с мамой бороться можно.

Сегодня мама на работе. Детская больница находится на Батыевой горе, где я до сих пор так ни разу и не был, хотя мама обещала меня туда взять. Сама больница меня не очень-то интересует. Тоже мне невидаль – лежат на кроватях зарезанные дети со спущенными штанами, а мама делает им уколы. Не хочу я в ту больницу еще и потому, что маме может вдруг прийти в голову жестокая мысль – положить и меня с теми детьми, чтобы сделать укол.

Зато мне ох как хочется побывать на самой Батыевой горе. Наверняка там верхом на коне сидит Батый. Я знаю этого Батыя по книжке о витязях. Он – толстый и страшный, и конь у него – могучий, с черной развевающейся гривой и огромными копытами... А вокруг скрипели телеги, ржали кони. И хлопали попоны, и плескались на ветру знамена, и слышалось гиканье. На следующей странице горел город. И метались перепуганные киевляне, рушились обугленные балки. И огненные головешки шипели в снегу. А татары орали и лезли на ворота. Летели копья и стрелы – одна стрела, просвистев у самого моего уха, со звоном вонзилась в стену. Тогда я натянул тугой свой лук и запустил стрелу в Батыя. И ранил его!

На следующей странице я побежал вместе со всеми. Укрылись мы в Десятинной церкви. Мы рыли подземный ход, чтобы проползти к склону горы и покатиться вниз, к Днепру. Но татары запустили в ход тараны и метательные машины. И тяжелые камни полетели в церковь из катапульт. Но мы продолжали рыть, потому что другого выхода не было. А где-то вверху, под куполом, кружились ангелы, приготовившись ловить наши души. И со святых осыпались золоченые нимбы. И ползли трещины по стенам, и гасли свечи. Вдруг раздался чудовищный грохот, и Господь с перекошенным от ужаса лицом рухнул на землю. И нас всех накрыло обломками...

– Ба, почитай.

– Позже, мне еще нужно убрать в комнате.

– Ладно, позовешь, – и я пошел во двор.

Возле своего дома ковыряется в земле вечно замурзанный Вовка-дебил. Хоть он и дебил, зато добрый. Иногда мне кажется, что Вовка – самый добрый человек во дворе, а может, и на свете.

У колонки жизнь бьет ключом: ползают жучки и букашки, чуть дальше чистят перышки воробьи – «жидки», так их называют Вадик и Юрка. Недавно у братьев появились рогатки, настоящие – из толстой проволоки и с крепким бинтовым жгутом. Вчера они подстрелили воробья: набросали хлебных крошек, сами спрятались в кустах, а когда птицы слетелись, открыли по ним огонь.

– Убили жидка! – братья выскочили из засады.

– Это я его подстрелил! – заявил Юрка, поднимая воробья за лапку.

– Нет, я!

Они чуть не подрались. Но Юрка вдруг отшвырнул мертвую птицу и убежал. Когда они скрылись, я подобрал воробья. Кожица его под жиденскими перышками была тонкой, голова болталась, клюв раскрыт. Даже крови нигде не было, только один бок сильно вздулся. Я обмыл его в луже, отнес к забору и закопал. И пропел то, что обычно поют, когда выпускают божью коровку: «Улети на небо, там твои детки, кушают котлетки...». Он обязательно

должен ожить и улететь, этот жидок-воробушек. А его могилка стала моим секретом. Иногда я подхожу и проверяю, в могилке ли он или уже улетел?

* * *

На крыльце у своего дома на табуретке сидит дядя Митя. В майке и спортивных штанах. Пыхтит папирсой. Когда он почесывает плечо или шею («сучьи мухи»), татуированный эполет на его плече двигается, словно матерчатый. На его руках бугрятся мышцы. У папы на руках много волос, но таких мышц нет. И эполета на плече, конечно, нет. Папа вообще какой-то домашний, а дядя Митя – уличный. У папы кожа белая, молочная, он всегда быстро обгорает на пляже, становится красным, как помидор. Потом мама, смазывая ему спину кефиром, выговаривает: «Просила же, не лежи на солнце, что за человек!». А вот у дяди Мити кожа бронзовая. Наверняка, он может целый день лежать на солнце – и ничего. Еще папа не умеет плавать – входит в воду по шею, разворачивается и плывет к берегу, как собачонка. А дядя Митя, я уверен, плавает, как акула, может легко переплыть даже на другой берег Днепра. И все потому, что дядя Митя – водитель, а папа – главный инженер.

Иногда я думаю: вот если бы папа тоже сделал себе татуировку на плече и стал курить папирсы. Тогда он остался бы тем же папой: так же покупал мне мороженое, водил на пляж, но стал бы немножко и дядей Митей, и отлупил бы Вадика и Юрку, чтобы они меня больше не обзывали «жидком» и не обстреливали из рогаток.

...Когда я пришел домой зареванный и пожаловался, что в меня Юрка стрельнул – вот, на груди пятнышко от скобки, бо-олит! – папа, побледнев, сорвался с табуретки и погнался за ними. Братья – наутек. Я выбежал во двор, чтобы посмотреть, как папа их догонит и надерет им уши. Папа бежал очень смешно: он как бы перекатывался, часто перебирая короткими ногами и почему-то прижав руки к карманам брюк. Вадик и Юрка неслись к забору. Уже было ясно, что папа их не догонит. Братья перемахнули через забор и – вперед. А отец развернулся и пошел назад. Даже не запустил в них палкой! Мне стало грустно до слез. В ту минуту я понял, что папа, как бы ни хотел, не сможет меня защитить. И еще я понял, что если тебя сегодня называют «жидком», то завтра будут расстреливать из рогатки...

Вечером бабушка, допив чай, направилась в дом Вадика и Юрки. Я испугался за нее, ведь бабушка такая маленькая, даже меньше папы. Но все обошлось: вскоре она возвратилась живой-невредимой. Сказала, что они меня больше обижать не будут. И спросила, не болит ли ранка. Конечно, не болит – мама

уже два раза смазала ее зеленкой, испортив всю картину: разве можно боевое ранение смазывать зеленкой?!

6

Из калитки вышла баба Маруся с ведром.

– А-ну, силач, покачай, – попросила, повесив ведро на крюк колонки.

Это мне – раз плюнуть. Р-раз, р-раз!

У бабы Маруси – один серьезный недостаток: мокрая тряпка, которой она может проехаться по спине, если рвать ягоды с забора. Но иногда она сама дает мне вишни или сливы. Непонятно, зачем бабе Марусе такой злющий Полкан? Не пес – чудовище.

Еще у нее есть шлемофон из черной плотной материи, с выпуклыми ромбиками, наушниками и ремешком. За этот шлемофон я готов отдать все на свете. Однажды баба Маруся подозвала меня и дала его примерить. Жалко, что Аллочка не видела. Правда, шлемофон оказался немного великоват, таких голов, как моя, вместились бы две или три. Все равно, в этом шлемофоне я сразу стал большим и смелым. Как танкист Шолуденко, фотографию которого я видел в Парке Славы. Папа повел меня туда в День Победы.

...В длинной, широкой аллее, возле одной могильной плиты толпились взрослые. Там, со снимка в рамочке, улыбался парень в шлемофоне. Папа сказал, что этот танкист первым на своем танке ворвался в Киев, когда гитлеровцы драпали. Тогда я решил: вырасту – тоже стану танкистом, и, если понадобится, освобожу Киев от всех фашистов!.. Затем мы подошли к высоченному, уходящему пикой в небо, памятнику. Над горою принесенных цветов дрожал воздух, раскаленный от пламени. Монетки, звонко ударяясь о прутья металлической решетки, падали вниз, туда, где горел вечный огонь. Протиснувшись, папа стал читать на стеле высеченные имена погибших воинов. А я играл ремешком его часов. Но вскоре потянул его за руку – пора, мол, уходить, а то раскупят все мороженое. Когда мы возвращались домой и кончик моего языка едва поспевал слизывать падающие белые капли, папа как-то странно взглянул на меня и сказал:

– Тебя назвали Игорем в честь моего отца. Его тоже звали Игорем. Игорь Исаакович Баталин. Мой отец погиб на войне, защищая Киев. Теперь ты, сынок, – продолжатель нашего рода.

Я на миг замер. Сердце наполнилось гордостью за деда-героя. Но – продолжатель нашего рода? Ничего себе...

* * *

– О, ты глянь, алкаш проснулся, – громко сказала баба Маруся.
В дверях показался папа Аллочки – нечесаный, хмурый.
– Здорово, Васек, – приветствовал его дядя Митя. – Ну, ты вчера выдал джаз. Доиграешься – загребут в мусарню. Как голова-то? Может, ополстаканемся?
– Хорошо бы...
– А шоб вас, гадов, пересажали, – проворчала баба Маруся, снимая с крюка ведро.
– Слышь, ведьма, чем ворчать, дала бы лучше пару соленых огурцов, – сказал ей дядя Митя.
– Гони гривенник.
– Гривенник? С рабочего человека? Васек, мелочь есть?
Дядя Вася порылся в карманах, достал пару монет. Отсчитав деньги, дядя Митя подошел к бабе Марусе.
– На, держи.
Она зажала монеты в кулаке и пошла к себе. Через минуту вынесла два больших огурца, с которых стекал рассол.
– Глянь, какие красавцы, у самой слюнки текут.
– А ты их проглатывай, проглатывай, – прохрипел дядя Митя, глядя ей прямо в глаза.
– А ну, охальник, пошел вон! – баба Маруся захлопнула калитку.
Мужики скрылись в доме дяди Мити, и двор опустел.
...Впереди – целый день. Без Аллочки! Тетя Валя ее увезла. Отправиться бы на поиски. Но у меня нет денег.
Вру – у меня есть тридцать копеек, которые я прячу в спичечном коробке, на дне ящика с игрушками. Десять копеек я нашел на улице, а двадцать – тоже нашел, на кухне. Монетка лежала у самой ножки стола. Я спрятал ее в карман и выжидал, заметит ли бабушка пропажу.
Вечером она села на кухне, раскрыла свой кошелек. Дважды пересчитав деньги, задумалась. Взглянула на меня. Я уж было решил – пора сдаваться властям: нужно незаметно подложить монетку под стол, а потом якобы найти и отдать. Из рук в руки. Честно, благородно. Но в последнюю минуту передумал – авось пронесет.
– Думаешь, я потеряла?
– Да, ба.
Сердце бешено тарахтело. Если бабушка сейчас пожалуется папе, тот поднимет тревогу и объявит розыск. И тогда... страшно представить.
– Наверное, я ошиблась.
– Да, ба, – повторил я, понимая папины слова «деньги даром не даются».

Зато теперь я – богач! Зачем мне деньги? Во-первых, куплю себе мороженое. Во-вторых, коплю «на черный день» – так говорит папа, а в денежных вопросах я ему доверяю. По правде, я немножко побаиваюсь этого «черного дня»: наверное, тогда станет темнее, чем ночью, загремит гром, налетят летучие мыши. Тут главное – не зевать и не ловить ворон, а что есть духу мчаться в бабушкину постель. Только непонятно, зачем мне тогда понадобятся деньги?

7

Недавно скандал в Аллочкином доме закончился иначе. Вечером, когда папа читал газету, мама и бабушка сидели на диване, о чем-то беседуя, а я в своем углу играл в «эмиграцию», в комнату вбежала Аллочка.

– Баба Хана! Папа маму бьет!

...Тетя Валя – добрая, в очках, с востреньким носом, почти всегда улыбается. Правда, улыбка у нее какая-то жалкая. Она продает билеты в киоске. Возвращаясь с работы, порой угощает меня конфетами. Не понимаю, за что ее бьет дядя Вася.

Около их дома толпились соседи.

– Сколько это может продолжаться?! Неужели нет на него управы?!

На крыльцо вышел дядя Вася, лохматый, насупленный, руки в крови.

– Тюрьма по тебе плачет! – закричали женщины.

– Ты что, ирод, творишь! – громче всех разорвалась баба Маруся. – Ты за что ее бьешь?! Не бьешь? А руки?! Погляди на свои руки!

Дядя Вася вытер о штаны окровавленные руки.

– Курицу резал...

Он угрюмо оглядел соседей. Сейчас как кинется на всех... Вдруг раздался бас:

– Ну-ка, тарищи, посторонись, – раздвигая собравшихся, вперед продвигался милиционер. – Значит, опять за свое. Ох, Вася, выпросишь ты у меня пятнадцать суток.

Несправедливо – стоило начаться самому интересному, как меня увели домой. Зато теперь я не один – у нас дома Аллочка.

Иметь бы младшую сестричку! Мы бы вместе с ней пускали кораблики, прыгали бы на бабушкином диване, она бы съедала и мою порцию бульона. Но сколько ни прошу родителей подарить мне младшую сестричку – отказываются. Каждый раз – что за люди? – у них миллион причин в оправдание: то, говорят, капуста, в которой находят детей, не уродилась, то аист не прилетел, то мама должна готовиться к операции. Впрочем, на капусту и на аиста с недавних пор я не шибко надеюсь. Вон, у тети Любы

сначала надулся большой живот, а потом появилась коляска с ребенком. Значит, с капустой все в порядке. Подозреваю, всему виной мамина операция.

Детей вынимают из живота, развязав женщине пуп. Это я знаю точно. Свой пуп я берегу как зеницу ока. А родители темнят. Они не догадываются, что недавно я обнаружил на полке одну серьезную книгу. Книга мамина. Папины книги – о шпионах и разведчиках, на обложках нарисованы мужчины с пистолетами или блондинки с меховыми накидками на плечах. Там все выдуманно и неправда. А мамина книга без рисунка на обложке. Зато правдивая. С таким жутковатым названием: «Акушерство и гинекология». Слова эти запретные, их нельзя произносить вслух, а то еще родители догадаются, что я без спросу открыл эту книгу.

Тети там очень похожи на тех, что нарисованы на дверях туалета – тоже без платьев и без купальников. Голые. Правда, туалетные – веселые, озорные, а в книге – серьезные, строгие, того и гляди закричат: «Игорь, ты что – хочешь простудиться? А ну, отойди от колонки!». На первых страницах они стоят раздетые перед врачом, поднимают руки вверх, наклоняются. Затем идут рисунки неинтересные: какие-то узлы, трубки, пузыри. Потом появляются животы – сначала маленькие, затем большие. В животах, свернувшись и поджав ноги, точь-в-точь, как я во сне, только без мишки, лежат лысые уродливые дети. Больше всего меня поражает рисунок, на котором изображена лежащая женщина с широко расставленными ногами – точно паук, а из дырки под ее животом появляется чья-то маленькая голова...

* * *

Когда Аллочка поела, мы отправились в «мой уголок». Вскоре вошла бабушка и сказала родителям:

– Алла сегодня останется у нас, а Валя поехала к сестре.

Мы с Аллочкой переглянулись и продолжали играть. Звери запрыгивали друг на дружку, рычали, блеяли, заяц ударял в тарелки. Но Аллочке это скоро надоело.

– У тебя куклы есть? – спросила она полусшепотом. Кажется, она чего-то стыдилась.

– Нет, у меня только звери.

– Моя кукла осталась дома.

– Поклянись, что никому не скажешь.

– Клянусь.

Я достал спичечный коробок, в котором хранил деньги. На коленях мы подползли к углу, уперлись головами в стену.

– Тридцать копеек, – с важным видом я вернул коробок на прежнее место.

– А у меня дома целых пятьдесят копеек есть, мне мама подарила.

– Зато меня папа в субботу поведет в парк и купит мороженое!

– Мне папа тоже купит мороженое!

– Ничего он тебе не купит, потому что он – алкоголик!

Аллочка толкнула меня кулачками в грудь. В ответ я обхватил рукой ее шею и зажал в «ключ». Она стала вырываться, а я попытался повалить ее на пол. Чьи-то руки схватили меня сзади.

– Перестаньте! – приказал папа.

Пару раз я попытался ударить ее ногой.

– А чего она дразнится!

– Он первый начал, – пожаловалась Аллочка, села на кровать и заплакала. По-взрослому – опустил голову и закрыв лицо ладонями. Тихо, только плечи подрагивали. Я вдруг подумал, что, наверное, так плачет ее мама.

– Игорьь, разве можно бить девочку? – пожурела мама.

– Все, не плачь, – бабушка села возле Аллочки и, прижав ее голову к себе, стала гладить.

Разве можно так кого-то гладить, кроме меня? Значит, меня уже никто не любит?! Предатели! На глазах заблестели слезы.

– Эх ты, а еще танкистом хочешь быть. Ты – нюня, – сказал папа.

Такого оскорбления не прощу ему никогда! И слезы в два ручья брызнули из глаз.

– Он сильно перенервничал за день, – сказала бабушка, продолжая прижимать к себе уже притихшую Аллочку. – Пора их укладывать.

– Все, убирай игрушки, – велел папа.

Шмыгая носом, я принялся складывать игрушки. Заяц на прощанье ударил в тарелки – «дзинь». Аллочка, слабо улыбнувшись и хитро стрельнув глазками, присела на корточки рядом и стала мне помогать.

– Помириться, – сказала мама, соединяя наши руки.

Наши мизинцы крепко соединились, словно два крючка. Бабушка расстелила постель.

– Может, пусть они спят отдельно? – неожиданно предложила мама.

– Ты что, боишься стать молодой бабушкой? – усмехнулся папа.

– Ну и шутки у тебя.

– Пусть ложатся «валетом», – бабушка принесла еще одну подушку.

И мы легли: я – у стенки, Аллочка – лицом к телевизору (везет же). Поначалу я немножко злился, завидуя, но через пару минут раздался строгий папин голос: «Повернись и спи», и Аллочка послушно повернулась.

Ночью я проснулся от странных звуков. Поначалу подумал, что это из комнаты родителей. Интересно, спят ли они тоже «валетом»? Вряд ли. Спали

бы «валетом» – не были бы мужем и женой. «Валетом» спят только дети. Родители там, у себя, обычно шепчутся – секретничают. Потом скрипят пружины кровати и сквозь скрипы доносятся странные мамины вздохи. Душит ее папа, что ли? Все, похоже, закончилось. Нет же, снова шепчутся. Кажется, спорят. Снова скрип пружин. Они там что – прыгают? А мне – вот наказание! – даже шевельнуться нельзя: стра-ашно. Неужели они занимаются тем же, чем и фигурки, нарисованные на дверях туалета? Этого еще не хватало! Папа – уважаемый человек, главный инженер на заводе, мама – гроза всех желтушных детей в больнице, предали мои чувства, уподобившись туалетным уродам. И куда смотрит бабушка?!

...Плакала Аллочка. Лежала и тихо всхлипывала. Зря, конечно, я с ней подрался. Хотя она и первая меня по ноге ударила. Я сполз с софы, подошел на цыпочках к картонному ящику, достал оттуда спичечный коробок с деньгами.

– На, возьми.

Аллочка вытерла слезы, взяла монеты.

– Нет, лучше пусть они хранятся у тебя, – и вернула мне деньги.

Вдруг наклонилась ко мне, обняла и поцеловала. В губы. Я слегка испугался, сам не знаю, чего.

– Я тебя бить больше никогда не буду.

– И дразниться не будешь?

– Нет, клянусь.

– Полезли завтра в сад, – предложила она.

– Давай еще раз поцелуемся, – и я потянулся к ней своими сомкнутыми губами.

Заскрипел бабушкин диван. Мы замерли – вдруг проснется! Тишина, лишь едва слышное посапывание.

– Давай спать вместе.

– Давай.

Я перебросил ее подушку на свою сторону, и мы нырнули под одеяло. Между нами оказался «классический третий» – друг-мишка, сто раз привитый от всех болезней. Он хотел оставаться с нами, но я взял его за ухо и бросил в угол.

– Когда вырастешь, ты кем будешь? – спросила Аллочка.

– Не знаю. Наверное, танкистом. Или врачом. А ты?

– Артисткой. Как Любовь Орлова. Видел фильм «Цирк»? Вот и я такой хочу стать.

– Ты завтра будешь у нас целый день?

– Не знаю... – вдруг умолкла. – Давай спать.

Я хотел было предложить поцеловаться еще раз. Но она повернулась лицом к стене, поджала ноги к животу. Мне спать не хотелось. Большим пальцем ноги я пару раз легонько ударил по ее пятке. Аллочка оттолкнула – перестань, мол. В другое время, конечно, я показал бы ей, как брыкаться, но еще не были забыты слова клятвы.

8

Под окном нашей комнаты был сад. Собственно, этот небольшой пустырек, огороженный со всех сторон тыльными стенами домов, садом-то и не назовешь – земля повсюду изрыта, в воздухе над одуванчиками парят рои мошек, у одной из стен среди лопухов отвоевал себе место под солнцем куст малины. В центре этого захолустного Эдема растут шелковица и невысокая яблоня.

У каждого дерева и куста – своя история болезни. Скажем, яблоня – это прямая дорога к дизентерии. Впрочем, зря мама так переживает – неспелой антоновки много не съешь: надкусишь яблоко и тут же выплунешь – кислятина. Шелковица – «травмпункт»: зеленка на моих разодранных коленках, отлетевшие и потерянные в траве пуговицы, разорванные рубашки. Зато шелковица – это и ягода, черная, налитая, затянутая паутиной, висящая на самом краю ветки. Тянешься к ней двумя напряженными пальцами. Рви же! Потом, усевшись поудобнее на ветке, бережно снимаешь паутинку и погружаешь ягоду в свой истекающий ожиданием рот... Куст малины – это «скорая помощь», детская больница на Батыевой горе.

– В малинниках водятся змеи, – предупредила мама, когда пришла весна и на подоконнике появились грязные следы от моих сандалий. – Тому, кого укусила змея, делают уколы в живот.

– Это правда? – уточнил я у бабушки. Не исключено, что мамина змея – из той же «бригады», что и Бабай, и милиционер, забирающий детей, которые не хотят есть.

– Может быть, и правда, – ответила бабушка после недолгого раздумья. – Моего брата Милю когда-то укусила змея, и его еле спасли.

... Утром мы с Аллочкой – в саду.

В стеклянной банке, куда брошены листики и пучки травы, томятся узники. Один, самый большой, с оторванной лапкой, – моя добыча. Аллочка – тоже не промах: сложив ладошки домиком, подкрадывается, наклоняется и, падая на коленки, – хлоп! – накрывает нового кузнеца.

– А я осенью в школу иду.

- Ну и что! Я тоже в этом году в школу пойду.
- Никуда ты не пойдешь. Ты еще маленький, тебе еще нет семи.
- Опять дразнишься. Сейчас как врежу.
- Также мне напугал. Вот и не догонишь! – дернув меня за воротник, она срывается с места и убегает.
- Я – за ней. Носимся по саду, спотыкаемся, падаем.
- Не догонишь, не догонишь! Все,пусти, порвешь, – просит она, когда мне удается схватить ее за платье.
- Будешь еще дразниться?!
- Нет, ну все,пусти...
- А я умею лазать по деревьям, – подбежав к шелковице, несколькими ловкими движениями взбираюсь на ветку.
- Я тоже так умею!

Аллочка прыгает, как обезьяна. Ее нога съезжает по стволу, она бесстрашно делает еще одну попытку, теперь удачную, влезает на одну ветку, на вторую, на третью. Еще бы! Ведь она мечтает стать как Любовь Орлова: в блестящем купальнике перед глазами замерших зрителей споет свою «Мэри-Мэри – чудеса...». И, отбросив шляпу с пером, начнет медленно опускаться в пушку. А потом – ба-бах! – полетит под купол цирка. В зале сидят папа и мама, хлопают. Папа – в костюме, выбритый, непьяный. Мама – с новой прической, в цветастом шелковом платье, которое она уже давно не надевала. После представления папа купит торт и лимонад и все вместе придут домой. Аллочке отрежут самый большой кусок торта с розочкой. Будут есть торт и смеяться. Затем папа подхватит Аллочку под мышки, перенесет к центру комнаты, подложив свою огромную правую ладонь ей под живот, а левую – на спину, и начнет кружить: «Полетели – у-у-у!». Руки – в разные стороны. Перед глазами замелькают стол с недопитым лимонадом, мама, комод. Потом Аллочка снимет блестящий купальник, отколет бумажный цветок и разложит кресло, на котором спит. Тихонько подойдет мама, сядет на краешек, и Аллочка-доня повернется на бочок, чтобы мама погладила ей спинку. И поцеловала в шею, туда, где персиковый пушок косички.

Завтра – выходной. Аллочка проснется от щебетанья птиц и побежит в комнату родителей. Заберется к ним в теплую постель, посередке, так, чтобы с одной стороны – папа, с другой – мама. Папа будет ее гладить и немножко с нею баловаться, продолжая разговаривать с мамой, о чем угодно: на заводе новый бригадир... пора консервировать помидоры... на могиле отца нужно поставить ограду...

Она помнит дедушку Бориса: лысый слепой старик лежал на диване, укрытый темным одеялом. Иногда что-то насвистывал – из сложенных трубочкой губ вылетали мелодии. Но чаще молчал или кашлял. Она

запомнила его пальцы: длинные, костлявые, крепко держащие край одеяла, словно кто-то собирался это одеяло у него отнять. Когда они оставались дома вдвоем, дед подолгу лежал молча, а потом вдруг спрашивал, какая сегодня погода или какого цвета у нее глаза. Слушал не моргая, лишь изредка его сухие губы шевелила малозаметная улыбка. «Ты цикавая», – произносил он. Втайне, чтобы никто не знал, она называла его «дед Борис – председатель дохлых крыс». И хихикала, тихонько передразнивая. Мама не разрешала близко подходить к деду, говорила про какую-то туберкулезную палочку, от которой якобы можно заразиться. Возле кровати на табуретке стояла его посуда, под подушкой лежало полотенце. Но никакой палочки у деда Аллочка не видела.

Еще она помнит, как папа и мама брили деда, когда тот обрастал щетиной на лице и ежиком на макушке – ну настоящий председатель дохлых крыс! Родители намыливали сначала его лицо, сбрасывали, затем – голову. Когда брили голову, дед как-то странно оживлялся. Просил, чтобы осторожней на темечке, потому что на темечко ему трое суток подряд лили ледяную воду – по капле, по капле, суки! – когда пытали на допросах в Лукьяновской тюрьме... Дед плакал, как ребенок, тер руками свои слепые глаза, начинал сильно кашлять и орал, чтоб ему дали водки. Укладывая, мама его успокаивала: «Ну не надо, ну успокойтесь», водку, однако, не давала. Подсовывала к его рту кислородную подушку, трубку от которой дед сначала выплевывал, но мама слезно упрашивала. Дед брал и, наконец, умолкал. А папа уходил из дому и возвращался поздно. Пьяный. Кричал на маму. Так повторялось каждый раз во время бритья, но дед сам просил его брить, когда на макушке ладонь начинал колоть черный ежик.

Однажды ночью дед откашлялся сильнее обычного, и все проснулись. Включили свет. Аллочке почему-то стало страшно. Она стояла, прижавшись к стенке комода. Дед кашлял так, что жилы на горле вздулись. Отглаткивал кислородную подушку. Вдруг затих, вцепился своими пальцами в одеяло и притянул его к самому подбородку. Долго молчал. Потом прохрипел: «Как тяжело умирать...»

Мама заплакала в подол ночной рубашки, папа опустил свою ладонь на слепые раскрытые глаза деда. А когда ладонь отнял, дед лежал безразличный, посеревший, с сомкнутыми губами и закрытыми глазами, словно и не жил никогда. Только костлявые пальцы крепко держали край одеяла. На пару дней Аллочку отправили к тете Даше. Когда она вернулась – ни деда, ни одеяла уже не было. Лишь на столе стоял граненый стакан, наполненный водкой и прикрытый горбушкой черного хлеба...

* * *

– Ты правда пойдешь в школу в этом году?

– Да, меня поведут показывать директору. Ноябрьских тоже принимают.

Мы сидели на корточках, измазанные шелковицей, со свежими царапинами на руках и ногах. Выпускали кузнечиков из банки. Кузнечики были какие-то вялые, а может, им до того понравилось в банке, что и выпрыгивать не хотели.

– Как ты думаешь, в школу нужно будет ходить каждый день?

– Ты что? В школу ходят, когда хотят.

– Я тоже так думаю... – Аллочка вдруг лукаво прищурилась. – Хочешь, я тебе что-то покажу?

– Покажи.

– Пошли, – она взяла меня за руку и потянула за собой.

– В малину нельзя, – я вырвал руку.

– Почему?

– Там... – (скажи про змею – еще засмеет и назовет трусом). – Она невкусная. Аллочка повела плечом, посмотрела вокруг – нет ли кого. Вдруг подняла подол платья и сняла трусы.

– Смотри.

Я уставился, как стокий Аргус, – всеми глазищами. Неужели у всех девочек одинаково: все – как отрезано? Виденные прежде запретные рисунки были все же рисунками. А тут – сама жизнь... Может, и у мамы там тоже нет ничего? И у бабушки?

– Мы с тобой теперь муж и жена, – сказала Аллочка. – Когда вырастем – поженимся.

– Угу, – промычал я, не сводя глаз.

– Теперь покажи ты.

Я растерялся. Когда меня голым купают в тазу, я не стесняюсь. Но мама и бабушка – свои. Мы – семья. А тут – как бы чужая. Но, с другой стороны, мы ведь поженились. Получается, что жене можно. Я не знал, что делать.

Первые капли дождя упали на землю.

– Побежали домой! – крикнул я и помчался.

У окна стоял деревянный ящик, специально принесенный папой мне для подставки.

– Так нечестно! Обманщик! – закричала Аллочка, натягивая трусы. И побежала следом.

Мигом я заскочил в комнату. Через минуту вбежала и Аллочка.

– Вот молодцы, мне и звать вас не пришлось, – сказала мама. – Глянь, что творится – настоящая гроза, – она закрыла окно.

Сразу потемнело, в небе загремело и запылало, забарабанили крупные капли.

Глава вторая

1

В пятницу у нас с бабушкой много дел, а поспеть нужно всюду: показать меня директору школы, зайти в магазин «Школьник» – купить там новую ручку. Бабушке еще нужно купить разную мелочь – молоко, мясо, хлеб. А после обеда должна приехать баба Женя, папина мама.

Утром подниматься с постели не хочется. Даже после трижды сказанного «Игорь, вставай». Напоследок еще можно постоять на коленках, уткнувшись закрытыми глазами в кулаки, и увидеть цветные круги, выплывающие из темноты. А потом снова завалиться «на классическую минутку».

На стуле ждут новые штаны и рубашка. В таком наряде хочется пройтись щеголем по двору.

Двор – лает, щебечет, стрекочет. Пару раз я дернул ручку колонки, перепрыгнул не совсем удачно через лужу. Из дома вышла бабушка.

– Ну вот, уже весь испачкался, – присев, отряхнула на мне штаны, заправила рубашку.

Все. В путь.

– Ба, а правда, что раньше в той школе была немецкая конюшня?

– Тебе кто это сказал?

– Маслянский.

– Я тоже такое слышала, но точно не знаю. Когда немцы пришли в Киев, мы с твоей мамой уехали в Ташкент.

– А Маслянский?

– Скрывался. Священник прятал его у себя дома.

– А что, немцы и Маслянского хотели убить?

– Да.

Мне стало жалко Маслянского. Одно дело кино – там убивают незнакомых. А Маслянского я знаю давно. Он – мой друг. Когда занимается своей работой – чинит мебель, рассказывает мне истории и про татар, и про казаков, и про фрицев. Я представил его: лысого, с остренькими гвоздиками в сомкнутых губах, с папиросой за ухом, сидящим в темном шкафу – прячется от немцев. Иногда, оставаясь один в комнате, я залезаю в пропахший нафталином шкаф и прячусь там. Но ведь я балуюсь.

– А кто такой священник?

– Тот, кто молится Богу.

- Ба, а кто такой Бог?
 - Бог живет на небе. Он все знает и все может.
 - Почему же Бог Сам не спрятал Маслянского, если видел, что его немцы хотели убить? И почему Бог не спас моих дедов?
- Бабушка остановилась. Посмотрела мне в глаза – так серьезно, что я даже губу прикусил. Вдруг как-то печально пожала плечами.
- Не знаю, почему не спас...

* * *

Показалось двухэтажное здание – школа. Во время войны немцы превратили ее в конюшню: на первом этаже держали лошадей, на втором – был склад с оружием. А вдруг там на полу валяются гильзы или патроны?

Школьный пол в холле сразу разочаровал – вымыт до блеска. Какие уж тут патроны... Зато сама школа – не сравнить с нашим детсадом, все по-настоящему: длинные коридоры с колоннами, высокие потолки, двери с табличками.

– Ди-рек-тор, – прочитал я надпись на одной из дверей.

Бабушка постучала.

– Здравствуйте. К вам можно? – спросила, отворяя дверь.

И мы вошли в просторный кабинет.

– Здравствуй. Меня зовут Александра Николаевна. А тебя? – женщина с аккуратно зачесанными каштановыми волосами сидела за столом. Отложив ручку, улыбнулась.

– Игорь.

– Хочешь учиться в школе?

– Да, я уже большой.

– Большой, а ногти кусаешь.

Тут же я отдернул руку.

– А считать ты умеешь? Тогда реши задачу: на дереве сидело десять воробьев. Девять улетело, один прилетел. Сколько воробьев осталось?

– Два, – сразу ответил я. (Тоже мне задача – я и не такие решаю, когда торгуюсь с бабушкой за ложки бульона.)

– Молодец. А читать ты умеешь?

– Конечно!

Я подошел к Александре Николаевне. С улицы доносилось щебетание птиц. Ветерок, ворвавшись в окно, сдул со стола пару листков.

– Спасибо, – сказала женщина, принимая из моих рук поднятые листы. – Ну-ка, прочитай, – и вручила раскрытую книжку.

– Уж-я-не-тот-лю-бо-вник-стра-ст-ный ко-му-ди-ви-лся пр-пр (застрял) прежде-свет.

– Хватит, – засмеялась Александра Николаевна.

Бабушка тоже улыбнулась.

– Еще я писать умею. Можно? – взял ручку и через минуту протянул ей листок, на котором неровными буквами было написано «Игорь». В тот момент я чувствовал в себе столько сил и талантов, что, казалось, могу сдвинуть горы. И еще, если честно, мне очень понравилась Александра Николаевна – и ее сиреневое платье, и запах ее духов...

– Хорошо. А кто твои родители?

– Мама – медсестра в больнице, папа – главный инженер на заводе. И бабушка.

– Отец – штамповщик, – неожиданно поправила бабушка.

Я раскрыл рот, все звуки застряли в горле. Как – штамповщик?! Папа рухнул с высот главной инженерии, сдулся, стал маленьким.

– Вот и хорошо, – промолвила Александра Николаевна. – Первого сентября приводите его. До свидания, любовник страстный. И ногти больше не грызть, договорились?

* * *

Мы вышли из школы.

– Ба, а разве папа – не главный инженер?

– Нет, конечно. Он – штамповщик.

– Почему же он называет себя главным инженером? И ты тоже говоришь, что, так как он – обедают только главные инженеры.

– Мы шутим.

– Ба, а на каких столбах рабочие будут вешать директора и парторга папиного завода?

Бабушка замерла. Оглянулась.

– Придем домой – объясню, – проговорила она тихо. Кажется, у нее испортилось настроение.

Дома я тут же решил проверить новую ручку. Заправил и стал рисовать. Бабушка тем временем хлопотала на кухне – готовилась к приезду бабы Жени. Что-то варила, пекла, гремела кастрюлями. Раскрасневшаяся, в испарине, вошла в комнату и села в кресло.

– Фу-ух, жарко, – взяла газету и стала обмахиваться. Прядка седых волос у ее виска слегка раскачивалась.

– Ты чем занимаешься?

– Пишу.

Бабушка понимающе кивнула головой. Достала из буфета свою шкатулку. Снова села в кресло и надела очки – в очках она выглядит очень смешной. В руках у нее появлялись какие-то листки, газетные вырезки, фотографии. Перебирала бумаги, что-то шептала, усмехалась. Терпение мое лопнуло.

– Что это?

– Письма твоего дедушки Пейсаха.

– А кем он был?

– Врачом. Заведующим отделением в больнице.

– Там же, где и мама работает?

– Нет, в больнице Павлова. Он лечил сумасшедших.

– Таких, как Вовка-дебил?

Бабушка строго взглянула из-под очков.

– Больше никогда не говори это слово. Обещаешь? Пейсах их называл «мои сумасшедшенькие», а иногда – «мои мишугене». Знаешь, как его уважали в больнице? Вот, смотри, – взяла пожелтевшую газетную вырезку. – «Коллектив больницы Павлова поздравляет Пейсаха Наумовича Кагана с сорокалетием». Вот он, – достала маленькую фотокарточку.

Я взял фото. Ничего особенного – овальное лицо, темные волосы зачесаны назад, губы – ленточкой, как у мамы.

– Знаешь, какие он мне письма писал, когда ухаживал? – бабушкины пальцы стали бережно перебирать бумаги. Вытащила открытку с нарисованной горячей свечой. – «Милая Хана. Родная моя. Выходи за меня замуж. Не пожалеешь...»

– А как он погиб?

Бабушка долго молчала.

– Его немцы убили. В душегубке. Были такие машины, в которых убивали людей. Когда немцы вошли в Киев, они подогнали душегубки к психбольнице и всех больных загнали туда...

– Почему же он не уехал с вами в Ташкент?

Бабушка снова помолчала.

– Не хотел оставлять своих больных, думал, что немцы их не тронут. И в душегубку ушел вместе с ними...

Она сняла очки, положила их на колени. Вдруг прикрыла ладонями глаза. Только нос торчал.

– Ба, ты что?

Бабушка медленно отняла руки, посмотрела на меня. Улыбнулась.

– Ты похож на моего Пейсаха. У вас одинаковые глаза – добрые, – она стала укладывать бумаги в шкатулку. Вдруг резко приподняла голову, втянула носом воздух. – Жаркое! – и, сунув шкатулку в буфет, ринулась на кухню.

Я остался один. Снова сел за стол, взял ручку. Перо повисло над бумагой, но не прикоснулось и не вывело ни одной буквы. Потому что я хотел, но тогда еще не мог написать то, что пишу сейчас:

Милая Хана. Твоя фотография висит передо мною на стене. Стоит мне взглянуть на нее, как я слышу твой голос. И смех. И вижу сложенные на груди руки. Как ты складывала их всегда, когда садилась отдыхать. С такими же сложенными на груди руками я увидел тебя в последний раз, лежащей в красном, как маки, гробу. Ты была маленькой, и лицо твое, белое, качнулось, когда я наклонился, чтобы поцеловать твой лоб.

Рядом с твоей фотографией на той же стене висит карточка деда, твоего Пейсаха, – овальное лицо, волосы зачесаны назад и губы ленточкой. Он пошел в душегубку, поддерживая за руку одного своего «сумасшедшенького», который смеялся, не понимая, что происходит. В темноте он услышал, как завелся мотор, и решил, что их перевозят в другую больницу. Он не знал, что выхлопная труба была проведена в будку машины. И немецкий солдат, открыв дверь, чтобы сбросить трупы в одну из ям Бабьего Яра, увидел искаженное лицо с раскрытым ртом, в котором застрял крик: «Милая Хана...»

*Секретный документ Рейха
Оберштурмбанфюреру СС Рауфффу,
Берлин*

«Осмотр газовых автомобилей «Айнзацгруппы-С» окончен. Я приказал, чтобы во время пуска газа служебный персонал находился на возможно большем расстоянии от автомашины для того, чтобы здоровье не пострадало от газа, который может выходить наружу. Довожу до вашего сведения, что некоторые команды должны были своими силами произвести разгрузку после применения газа. Я обратил внимание командира зондеркоманды на огромный психологический вред, который может принести служащим эта работа. Люди жалуются на головные боли после каждой разгрузки. Газ не всегда применяется правильным образом. Чтобы как можно скорее закончить работу, шофер нажимает на акселератор до отказа. Таким образом люди умирают от удушья, а не от отравления, как это было запланировано. Выполнение моих инструкций показало, что при правильном положении рычага люди мирно впадают в глубокий сон. При этом не приходится видеть искаженные лица и испражнения. Сегодня я продолжу свою инспекционную поездку.

*Доктор Беккер, унтерштурмфюрер СС.
Киев, 19 октября, 1941 год».*

Сегодня приезжает баба Женя. Ростом она невысокая – как бабушка. Но у бабушки волосы седые, жиденькие, стянутые узелком (иногда она закалывает их гребешком), а у бабы Жени – черные с отливом, как воронье крыло. У бабушки лицо бледное, губы бесцветные и глубокие морщины на лбу. А баба Женя всегда густо накрашена и напудрена, лоб гладкий. Бабушка – худая, как засушенная вобла, баба Женя – пухленькая хрюшка. Ну и самое главное: бабушка – обыкновенная, из мира кастрюль, дырявых носков и вечных жалоб на нехватку денег, а баба Женя – из мира красивых напудренных женщин, гарниров и «взрослых» разговоров.

Иногда баба Женя приходит к нам с мужчинами. Я различаю их по медалям. К примеру, дядя Яша мне нравился не очень: ни медалей, ни орденов. Хоть бы значок какой нацепил. А вот дядя Юзик – орел: с тремя медалями и одним орденом. Мы с ним сразу нашли общий язык: он по-солдатски снял все медали и дал их мне. Поиграть. Я надеялся, что он забудет их, но перед уходом он забрал их и пристегнул к пиджаку. У нас с дядей Юзиком мужской уговор: после его смерти его медали переходят ко мне.

Если речь заходит обо мне, баба Женя всегда обращается к папе в моем присутствии. «Он что-то худой. Вы его нормально кормите?» или «По-моему, он отстаёт в развитии. Вы его показывали психиатру?» Папа что-то бормочет в ответ, а баба Женя неодобрительно качает головой. Зато ко мне она всегда обращается, как ко взрослому: «Сделай тише звук телевизора» или «Принеси стакан воды». Перед тем как выпить, внимательно разглядывает стакан, прищурившись, и если находит что-то подозрительное, кривится и возвращает, не пригубив.

Так же осторожно она приступает к еде: сначала, сузив глаза, осмотрит на тарелке жаркое – его вид, затем чуть наклонится, понюхает и только после этого накалывает на вилку кусочек мяса и делает пробное прожевывание. Дальше все зависит от вкуса жаркого и вкусов бабы Жени. Если не понравилось, блюдо подвергнется жесточайшей критике: пережарено, недоперчено, мало лука. Зато если блюдо приходится ей по нутру, она благостно мычит и живо работает челюстями, произнося одно-единственное: «изумительно!». Правда, такие кулинарные удачи случаются нечасто. После отъезда бабы Жени мама обычно возмущается (в присутствии отца): «Жаркое, видите ли, ей не понравилось! Принцесса. Что не так? Свежая базарная телятина, обжаренная с луком, приперченная, с лавровым листом и душистым горошком...» Папа выслушивает со скучающим взглядом. Неожиданно спрашивает: «Кстати, там, в чугунке, еще что-то осталось?» – и бегом на кухню.

Баба Женя любит рассказывать о своих болезнях. С ее уст порой слетают странные слова: низкий гемоглобин, депрессивный синдром, поздний климакс. Она постоянно упоминает каких-то врачей. Рассказывая о том, что очередной кардиолог подтвердил у нее гипертонию, она оттопыривает нижнюю губу и сразу превращается в старуху.

Баба Женя почти всегда в новом наряде. Войдя в дом, сразу же направляется к зеркалу. Достает из сумочки помаду, подкрашивает губы, приглаживает брови, припудривает лицо. Изрекает: «Даже в гробу женщина должна лежать с накрашенными губами». «Совершенно с вами согласна», – подтверждает мама.

...Они пришли почти одновременно: сначала родители с работы, следом и баба Женя.

– Это тебе, – она протянула мне коробку цветных карандашей.

– А сказать спасибо? – напомнила мама.

– Спасибо, – и я скрылся в комнате.

Усевшись на диване, вытащил карандаши из коробки. В комнату вдруг вошел папа. Он был хмур и бледен, будто заболел. Посмотрел на меня так, что я невольно поднялся.

– Ты говорил еще кому-нибудь, что рабочие хотят повесить директора и парторга завода? – стараюсь быть грозным, тихо спросил папа.

– Нет, только бабушке...

– Ты уверен?

– Да.

– Никому не говори об этом. Понял?

– Понял.

– Никому, – он угрожающе помахал пальцем перед моим носом и вышел.

Я почесал затылок. Наверное, это тайна. Нельзя, чтобы директор и парторг раньше времени узнали о казни. Но зря папа так перепугался – я его не выдам. А бабушка – предательница. Больше ничего ей не скажу! Ударив кулаком подушку, я побежал в кухню.

Там шли приготовления к ужину.

– Ты веришь, что он никому не говорил? – допытывалась у отца баба Женя.

– Все нормально, забудь, – папа, уже спокойный и благодушный, восседал на троне-табурете.

– Добром это не кончится, – предупредила баба Женя. – Вы совсем его не воспитываете. Кинетесь – поздно будет.

Мама подошла ко мне, присела, чтобы поправить рубашку.

– Игорь у нас честный мальчик, правда?

– Да-да, – пробурчала баба Женя. – Много ты знаешь. Повидала я на своем веку, как честные в тюрьму садятся.

Мама резко встала. Похоже, хотела что-то сказать в ответ, но сдержалась. Потянулась рукой к какой-то кастрюле, вдруг вскрикнув, отставила ее и подула на пальцы.

– Осторожней, горячая, – подсказал папа.

На столе появились бутылки с лимонадом и минеральной водой, овощи.

– Хотите боржоми? – бабушка налила в стакан и подала бабе Жене.

– Спасибо.

– А мне врач рекомендует эссендуки – прочищает желчные протоки. Хотя сейчас уже все равно...

– Лене должны удалять желчный пузырь, – сказала бабушка.

Баба Женья покачала головой:

– Такая молодая, а уже удалять. В наше время, смотрю, молодые и болеют чаще, и умирают раньше. А у меня в почках обнаружили камни.

– Боже-Боже, желчный пузырь... – повторяла мама.

– Сначала они считали, что почка застужена. Хорошо, что я обратилась к Левинзону. Сделали снимок – камни, – перебила ее баба Женья.

– А мне мой врач советует ежедневно принимать по сто грамм, – изрек папа, направляясь к холодильнику. Достал оттуда бутылку водки. Не пролив ни капли, наполнил свою рюмку. – Теща, садитесь. Вам налить пять капель? Не хотите? Мама, а ты? Тоже нет. Ладно, о чем с вами, язвенниками-трезвенниками, говорить? Будем здоровы! – одним махом он опрокинул рюмку. Сразу покраснел, на глазах выступили слезы.

Зазвенели ножи и вилки.

– Семен, передай хлеб.

– У меня что-то нет аппетита.

– Ну что, еще по граммульке?

– Сегодня нашего Игоря приняли в школу. Он сдал экзамен самому директору, – сказала бабушка.

– Ну-ка расскажи, как тебя приняли, а мы все послушаем, – попросила мама. Я надулся гордостью:

– Решил задачку про птичек и прочитал книжку про любовника страстного.

На миг воцарилась тишина.

– Ему дали Пушкина прочесть, – пояснила бабушка. – Директор – очень приятная женщина.

– Теперь придется купить ему школьную форму, – промолвил папа, почему-то вмиг погрузнев.

Бабушка развела руками: мол, что поделаешь.

– И ранец. Я знаю, какой хочу.

– Он сказал директору, что его папа – главный инженер. Он думал, что кроликов едят только главные инженеры.

* * *

По экрану телевизора побежали титры, начинался фильм.

– Ложись спать, – сказала мама. – Завтра папа вернется с базара и пойдет с тобой покупать ранец.

– И пенал?

– И пенал.

Маме для меня ничего не жалко, что ни попрошу – сразу достает свой кошелек. Правда, в мамином кошельке денег всегда почему-то очень мало. Папа говорит, что деньгами хуже всех в семье распоряжается мама, а лучше всех – бабушка. Бабушка всегда торгуется. К примеру, остановится возле торговки с укропом, выберет пучок, будет вертеть его, нюхать, сбивать цену. Уйдет, так и не купив. Сделает пару шагов, остановится, вернется и – снова за свое. А папа не торгуется. Он стоит у прилавка и что-то подсчитывает: глаза слегка закатываются, губы беззвучно шевелятся. Если, вздохнув, покачает головой, значит, дорого, дела не будет; а если решительно махнет рукой – к покупке.

...Плюшевый мишка лежал рядом на боку и вместе со мною слушал, о чем говорят взрослые.

– Семен, убавь звук в телевизоре, Игорь спит, – попросила мама. – Быть может, вообще не нужно, чтобы телевизор стоял в этой комнате?

– А куда его поставить, себе в кровать, что ли? – отозвался папа, убавив звук.

– Плохо жить в такой конуре.

– Что слышно о новой квартире? – поинтересовалась баба Женя.

– Не знаю, – ответил папа. – На следующей неделе комиссия с завода будет ходить по домам, проверять жилищные условия.

– А-а, ничего нам не дадут, – вздохнула мама. – Уже пора рожать второго, а тут даже коляску негде поставить.

– Куда вам еще второго? С одним справиться не можете, – проворчала баба Женя.

– Почему это не можем? – возмутилась мама.

– Лена, прикрой окно, дует, – вдруг попросила бабушка.

Скрипнула рама, шелкнул шпингалет.

– Форточку не закрывай, – дал указание папа.

– Тебе же на операцию, как ты собираешься рожать второго? – спросила баба Женя.

– Ну и что? После операции. Годы-то идут, – ответила мама.

– Тебе сейчас сколько? Тридцать? Я Семена родила в двадцать два. Тогда – не дай Бог! – даже молочных кухонь не было. Помню, у меня начался мастит, пришлось искать кормилицу. Мой Игорь с ног сбился, пока нашел.

– А у меня, когда Игорь родился, было столько молока – не знала, куда девать. Но он грудь брать не хотел ни в какую. Мне тогда посоветовали посыпать сосок сахаром. И он так полюбил, что почти до двух лет нельзя было оторвать.

– Куда это годится, если ребенок двух лет берет грудь? – сказала баба Женя и неожиданно повернула голову в мою сторону. Ее левый глаз прищурился. Засекла! – А ну, вытащи оттуда руки! Семен, вы следите, где он держит свои руки?!

Ладоши мои, как ошпаренные, выскочили из трусов.

– Игорь, ты почему не спишь? – спросила мама.

Повернувшись на бок, я поначалу закрыл глаза, а потом снова открыл.

– Помню, когда я была на седьмом месяце, – продолжала баба Женя, – вышла на улицу, поскользнулась и упала. Что я тогда пережила! Привезли в больницу – думали, начнутся преждевременные роды. Игорь прибежал с работы, бледный: «Женечка-Женечка». Я ему говорю: иди, а то на работе неприятности будут, видишь сам, какое сейчас время. – «Нет, Женечка, как же я тебя одну оставлю?»

– Вам делали кесарево? – поинтересовалась мама.

– Нет. Я Семена легко родила – как выплюнула. А второго не успела. Игорь, помню, просил: «Женечка, сын у нас есть, роди мне дочку». Ему-то уже было под сорок. А я не хотела. Боялась: вдруг придется одной с двумя детьми остаться. Кто мог тогда знать, что ждет завтра? В тридцать восьмом мы дважды были готовы, что за ним придут, ведь он был парторгом на заводе. Едва слышно звучали голоса из телевизора. Папа, кажется, перестал отстукивать «капцей».

– Игорю и броню от завода давали, – продолжала баба Женя. – А он, дурак, отказался. Я даже на вокзале его умоляла: «Одумайся, поедем!» Он лишь головой кивал: «Женечка-Женечка...» По-моему, он предчувствовал, что мы больше не увидимся.

– Почему же он не уехал с вами в эвакуацию? – спросила мама.

– Потому что дурак. Думал, что кроме него Киев некому будет оборонять.

– Ты говорила, что его видели в Дарнице, – подал голос папа.

– Это мне Людка Аландаренко рассказывала: когда ходила в лагерь для военнопленных своего искать, видела там за колючей проволокой одного, похожего на Игоря. Но она, говорит, не уверена – для евреев и комиссаров там внутри огородили отдельный лагерь. Игорь-то и на еврея не очень был похож, разве что густые брови и длинные ресницы. Но долго ль узнать?

Приказали снять штаны – и все. Тогда ведь все наши мужчины были обрезанными.

Я прикрыл глаза. Зачем деду приказали снять штаны? Что обрезали?

...Дед лежал на шкафу – его большой фотопортрет. Иногда я влезал на стул и смотрел на мужчину в темной, застегнутой на все пуговицы рубашке. Волосы аккуратно зачесаны набок, подбородок слегка приподнят. Официальный. Отретушированный специально для заводского стенда... Такого трудно представить сидящим в окровавленных кальсонах на земле лагеря для военнопленных. На пятый день он грыз ботинки, на девятый – обгрызал и жевал ногти. Выскивал вшей в рубахах мертвых и бормотал: «Женечка-Женечка, роди мне дочку, видишь, сколько здесь еды». Вдоль колючей проволоки бегали овчарки. На двенадцатый день, когда он, полумертвый, лежал на земле и заталкивал в рот траву, вошли пьяные полицаи и добились прикладами автоматов тех, кто еще шевелился. Трупы сбросили в ров, неподалеку от лагеря...

Дед не любил фотографироваться. Остался его единственный фотопортрет, которому по непонятной причине не нашлось иного места, как на нашем пыльном шкафу. Папа все собирался найти подходящую рамку и вырезать под нее стекло. Но по разным причинам откладывал, пока фото, изогнувшись, не лопнуло. Обнаружили мы это случайно, когда папа однажды зачем-то туда полез. Попытались склеить – безуспешно, лишь окончательно разорвали пополам. Огорчившись, папа с несвойственной ему энергией принялся искать фотохудожника, чтобы восстановить снимок. Нашел какого-то халтурщика, отдал ему два обрывка, а через неделю принес портрет незнакомого круглолицего мужика с густыми бровями и непропорционально маленьким ухом.

– Совсем не похож на Игоря, – заключила баба Женя.

И забракованный портрет незнакомца отправился на шкаф. С годами пропало все то небольшое, что с ним было связано: одно коротенькое письмо, отправленное вслед за поездом («Женечка. Киев мы не сдадим. Береги Семена. Целую тысячу раз. Твой Игорь»), выписка из Трудовой книжки, поздравительная открытка с завода. Через десятки лет, почти забытый, дед неожиданно объявился. Он материализовался в шпротах, сырах и шоколадных конфетах, которые, по предъявлении специальной карточки, стала получать на праздники баба Женя как вдова погибшего на войне политрука.

В последний раз его неприкаянная тень возникла, когда баба Женя решила уехать в Израиль, и у нее зачем-то потребовали документ о муже. Похоронка, как и следовало ожидать, была утеряна. Пришлось обращаться в архив военкомата, где подобных справок ожидали тогда сотни уезжающих евреев.

– Ваше счастье, что ваш муж был в командирском составе. Иначе мы бы вам помочь не смогли, – сказал офицер, протягивая ей справку с печатью.

«Игорь Исаакович Баталин. Политрук пехотного батальона. Пропал без вести. 30 декабря 1941 год».

– Что вы знаете о моем муже? – резко ответила она. И подумала, что из всех ее мужей Игорь был единственным, кого она любила.

...Первое время после получения похоронки она не верила, что Игорь погиб. Ждала. Увидев похожую мужскую фигуру, бежала следом. Поначалу похожие фигуры появлялись часто, затем – реже. Наконец, вовсе исчезли. С годами, когда она поняла, что больше никого не сможет полюбить, от жалости к себе стала испытывать угрызения совести – ей начало казаться, что Игорь тогда остался в Киеве по ее вине. Прояви она характер. Пообещай ему родить дочку. Он бы тогда воспользовался своей законной броней. Ведь он же исполнял любой ее каприз. Сдувал с нее каждую пылинку. Как с королевы.

Как-то вечером она подошла к окну и отпрянула – рядом со своим отражением в стекле увидела его, таким, каким он был в жизни: сильным, заботливым, немного суетливым. Она положила под язык валидол и легла спать. На следующий день проснулась и поняла, что ей осталось недолго. Спешно, никому ничего не говоря, начала откладывать деньги на памятник: чтобы на гранитной плите были выгравированы два лица – ее и Игоря. С датами рождения и смерти. Как положено – муж и жена. Чтобы, наконец, они встретились и оба обрели покой, долюбив друг друга в Той жизни, если не довелось в Этой. Она даже стала ходить по различным конторам, приглядывалась к образцам памятников, интересовалась ценами. Горячка эта, однако, прошла. Спустя некоторое время с новым мужем она уехала в Израиль, истратив все «могильные» сбережения на дорожную одежду и ювелирные украшения.

– Да, было время... – вздохнула бабушка.

– А эвакуация? – сказала баба Женя после недолгого молчания. – Это сейчас молодые жены только жалуются. А ведь у них все есть: и мужья, и родители, и крыша над головой. Посмотрела бы, окажись кто в моей ситуации: одна, с ребенком, без денег, в незнакомой башкирской деревне. А у Семена – воспаление легких. Врач говорит: срочно нужны лекарства и витамины. А где взять? Не согласись я им помогать, Семен пропал бы.

– Кому это – им? – тихо спросила мама.

– Им, тем самым, – с плохо скрываемым раздражением ответила баба Женя. – Вызвали и предложили: «Евгения Юрьевна, мы знаем, что вы сейчас в

трудном положении. Мы хотим вам помочь. Но и вы, взамен, должны оказать нам небольшую услугу. Вы – бухгалтер, сидите с директором совхоза в одном кабинете. Мы хотим, чтобы вы записывали в эту тетрадку все его слова, которые вам покажутся подозрительными».

– И вы согласились?

– А что оставалось делать? Сегодня все умные и храбрые. Посмотрела бы на тебя. Ты вон, если у сына прыщ, с ума сходишь. А мой – с температурой сорок, неделю горит! А из витаминов – черствый хлеб да мерзлая картошка... Потом у меня эту тетрадку забрали, а директора на следующий день увели. Затем мне предложили переехать в город, на фабрику. Но тоже – чтобы записывать слова начальства.

Все затихли. В кухне запел сверчок.

– Мне они помогли еще раз, когда мы с Семеном вернулись из эвакуации в Киев, – нарушила молчание баба Женя. – Нашу квартиру заняла Пархоменчиха. Я ей говорю: «Убирайся!», а она в ответ: «Мало вас, жидив, немцы пострияли!» Ах ты, мерзавка! Что ж нам, на улице жить? Я пошла в НКВД, у меня с собой специальное письмо было, все им объяснила. Тут же приехали и ее выгнали. Соседи потом рассказывали, что ее муж, Мирон, был полицаем. Ушел, негодяй, с немцами.

– Нашу квартиру не заняли, лишь всю мебель растащили, – сказала бабушка.
– Я нашла буфет, и то случайно. Зашла как-то к Ждановым, смотрю – наш буфет, только выкрашенный в серое. Но вижу – ведь наш. Ногтем краску отколупнула – он самый, ореховый. Правда, Ждановы сразу отдали, без разговоров.

Заиграла музыка – закончился фильм. Никто не вставал.

– Ну что, гей шлофен? – нарушил молчание папа.

Потихоньку зашевелились. Папа открыл кладовку, вытащил оттуда раскладушку. Баба Женя ее недоверчиво потрогала:

– Не грязная?

– Вы что? – возмутилась мама.

– Вы в кладовке когда в последний раз убирали?

– Знаете, что? Не нравится – не ночуйте. Семен, пусть твоя мать подойдет и своими глазами посмотрит, какой здесь порядок, – мама подошла к кладовке, распахнула дверь. (Осторожно, крыса!)

– Заколочу эту кладовку к чертовой матери! Завтра же! – взорвался папа.

– Тише, тише, Игорь спит.

Мама приблизилась ко мне, проверила, сплю ли. Притворяться спящим уже и не надо было – глаза слипались сами.

...Лаяли овчарки. За колючей проволокой стоял дед без штанов. По залу в белом платье кружила баба Женя. В гробике лежал ребенок. С неба сыпался

пепел. Ребенок вдруг встал, взял в руки ружье и начал стрелять по сидящим на ветке воробьям. Воробьи падали на землю, и в тех местах возникали глубокие ямы. Из ям вырастали красные маки. Ребенок побежал по этому алому морю и закричал: «Мама! Папа! Бабушка-а!..»

– Я здесь, спи, родной! – рядом сидела бабушка.

Я прижался к ней и заснул.

Конец ознакомительного фрагмента